

**В**анечка жил на Островной улице. Когда он тут обосновался — не помнил. Улица шла по самому берегу. Ее развалюхи почти сползли в Качу. Милиция сюда заглядывала редко.

Знал он, где торгуют спиртом, где балуют «дурью». Время работы горячих точек определял по фонарю на шесте. Народ летел на огонек, как мотыльки...

Деревянные халупки чем-то напоминали сгнившие зубы. К этому ряду и присоседился Ванечкин домишко. Окна наполовину ушли в землю, крыша держится на честном слове — все как у всех. И все же дом отличался от собратьев. Чистыми занавесками. Эти латаные-перелатаные тряпицы на леске были для Ванечки каким-то священным символом уюта. И хотя тесновато в комнатушке, и досадно болтается над столом лампочка, зато на месте веник и совок, и кухонный шкафчик, зеркало в пол-лица и даже перемотанный изоляцией радиоприемник... Все было у Ванечки. Не было только семьи.

Потертую лямку жизни он тянул один. Крутились возле него бабенки, да так ничего и не срослось. Последняя долго голову морочила, но и она — сгнула. Пила ух как лихо, да все на Ванечкину пенсию. А пенсия-то — с гулькин нос. Вот и не хватило ей размаху. Но это и к лучшему. От частых возлияний сердце по утрам начало пошаливать. Да и кому инвалид нужен? Ноги плохо слушались Ванечку с детства. Теперь он ходил, опираясь на палки. Быстро уставал, но чтобы жаловаться — никогда. Сядет на завалинку; волосенки редкие, шея цыплячья — дедушка из сказки. Улыбается. И кивнет, и рукой помашет, и сигареткой угостит. Знать, пенсия еще не вся ушла. Так и сидит до первых звезд. Утром повздыхает да и отправит сожительницу к фонарю. Или сам поковыляет. Вечером снова на завалинку...

В округе были в курсе, когда можно заниматься, а когда подождать надо. О долге он почти не спрашивал. Потому и не обижал его местный народ, и звал шестидесятилетнего инвалида ласково — Ванечка. Уважали его и за руки мастеровые. За починку брал недорого, а когда и рюмашкой обходился.

Так бы и дружил со «стеклорезом» до последнего вздоха, но однажды «скорая» еле откачала. Тогда смекнул — пришло время завязывать с этим баловством. Многих на его веку кондратий хватил.

У себя пить разрешал, но только с условием — не буяннить. И точно, на хате у Ванечки не дебоширили. Много чего обещали, слезы пьяные лили, но без ругани. Инвалид терпеливо выслушивал эти излияния. Всегда молча. А чего тут скажешь, когда душа выворачивается, наружу лезет? Ведь утром проснется, зыркнет и уйдет, только дверью хлопнет.

Но, случалось, прилетало Ванечке. Как-то неподалеку гуляла ватага молодцов. Одного из них заусило. Подошел и без вступлений хрясть ногой по лицу. Ванечка рухнул, а бравый хлопец молча пошел догоняться. Хорошо, пинать не стал. Днем Матвеев, сосед Ванечкин, этого оболтуса поучил уму-разуму штырем от кровати. Матвеев-то ушлый — пятнадцать лет лагерей — чуть сопляка по забору не размазал. Пострадавший вступился:

— Жалко!

— Жалко у пчелки. Пусть знает, на кого баллон катит. Если кто тронет, мне говори. Чирик не займешь?

Ванечка любил сидеть на берегу. Жил он на стрелке Качи и Енисея. Узкая мутная Кача тащила все, чем смогла поживиться, крадучись по городу. Она хитро пристраивалась к степенному Енисею. И тот спокойно ее принимал, как мудрый отец непутевую дочь, — без укоров и внушений.

Было у Ванечки и заветное место среди кустов тальника. На крохотной скамейке, без газет и удочки, он глядел на нескончаемый водный поток. Тряслись ветки, журчала река, душа успокаивалась. Течение словно бы уносило мусор никчемной жизни.

Особенно хорошо было в сентябре, когда затихают комары. Тальник щедро сыпал в речку ветхую листву. Желтые лодочки наперегонки летели к Енисею. И далеко не каждая приходила к финишу. Ванечка загадывал на выбранный лист. Доплывет? Или застрянет на полпути? И страстно желал, чтобы челнок вырвался на свободу. Все его существо ликовало, когда лист достигал Енисея. Наверно, поэтому-то и не употреблял Ванечка на берегу. Дома — пожалуйста, на реке — святое.

Но вот и дома прихватило. Шабаш! Все одно к одному — пора ставить точку. И тогда он решил поставить свечку.

Нашел алюминиевый крестик, приспособил веревочку и отправился в ближайшую церковь. Купил свечку, потоптался у икон. Озираясь, шептал какие-то слова... Усталый плелся домой. А перед глазами несмело колыхался язычок пламени.

Через неделю Ванечку снова потянуло в храм. Теперь он не смущался. Ему нравилось все: таинственный полумрак, запах ладана, иконы в киотах. Но больше всего — царившая здесь неспешность. Медленно догорали свечи, неторопливо ходили люди и тягуче пел хор. Словно распутывал клубок ниток. Возвращаться домой не хотелось.

Как-то раз после службы ему дали еды. С длинного стола, у которого пел священник. Женщина в платке сунула Ванечке хлеба и яблок. Сначала он не понял — кому это? Потом, сообразив, чуть не разрыдался. И не в том было дело, что перепало задаром. Этот почти материнский жест расшевелил в груди что-то давно забытое, спрятанное.

Ванечка зачастил в церковь. И все норовил поближе к столу, возле которого читались имена и расходился клубами дым.

Соседи шушукались: в попы, мол, записался. Но он не обращал внимания, улыбался и подолгу сживал на берегу.

Сближайшей пенсии купил Ванечка иконку. Простенькую, картонную. Теперь не одни занавески его веселили. Поставил икону на шкафчик, молитовку вспомнил: «Отче наша». Давно еще сожительница научила. Когда в слезах пьяных, когда с тоски похмельной, глядя в окно, шептала наизусть. Необычные слова врезались в память. И вот — пригодились. Но как радостно было услышать их на службе! Молитву вдруг запели разом — вся церковь. Ванечка засиял. Поворачивается в стороны, головой кивает — мол, знаю, знаю...

Случалось, и знакомых тут примечал. И парней, и девок. Удивлялся. Думал, что и не бывает так. По кустам летом всякого насмотрелся. Лица у них здесь были другие. Печальные и незлые. Чудно. И радостно. Даже когда толкали, протискиваясь к подсвечникам. Он и слова узнал новые: амвон, клирос... Больше всего ему нравилось «паникадило». Важное, объемное. Такая серьезная пани. И он уважительно посматривал на церковную люстру.

Домашняя лампочка теперь называлась «панночка кадило».

Примелькался Ванечка. Узнавать его стали, здороваться. Женщины со швабрами и братья на паперти уже искося не смотрели.

И вот случилось необычное. Был, как здесь говорили, Чистый четверг. Почему чистый, Ванечка не знал. Слышал только, что скоро Пасха. Народу — уйма! Вышел священник. Седой, невысокий, борода подстрижена. Повернулся к людям. Говорил негромко. Но слова-то какие! Сердце добела раскалилось! И ворочал в нем что-то старый батюшка, будто кочергой в печи. Вся жизнь Ванечкину пересказал, как по книге читал. Ничего не забыл.

А потом все двинулись к священнику. Понесло туда и Ванечку. Но вместо слов, в горле — ком. Тяжелый, мокрый. Ванечка наклонил голову перед старичком. А тот накрыл его тряпицей с крестиком:

— Ну что, каешься, горемыка?

— Каюсь, каюсь, — палки еле-еле в руках удержал.

Батюшка прочитал короткую молитву. Ванечка только и услышал: «прощаю и разрешаю». А когда выпрямился, будто кол из груди вынули — так легко стало. Но только шагнул в сторону, как понесло его дальше — к алтарю. Там давали с ложечки. Ванечка уже знал — это Причастие. Таинственное и страшное Тело Христово, уж, конечно, не ему предназначенное. Но его несло к Чаше, как сухой лист тальника в лоно Енисея. Будто и над ним загадали: доплывет или нет. Доплыл! Кто-то освободил ему руки, сложил на груди крестом, подвел к амвону...

Ковылял назад тише обычного, будто с горы спускался. Нес в себе что-то полное, до краев налитое...

Домой не хотелось, потому направился на берег — реке открывать сокровенное.

А дальше и вовсе чудеса пошли — устроился Ванечка на работу.

Как-то после службы догоняет его мужик. Прилично одетый, выбритый. Сразу в оборот:

— Слушай, ты сюда давно ходишь?

— Да не то чтобы.

— Работаешь?

— Куда мне.

— А живешь на что?

— Ну, пенсия... — Ванечка прищурился. — А дело-то в чем?

— Хочешь поработать?

Такого разворота он не ожидал:

— Издеваешься?

Но мужик был настроен решительно:

— Сторожем на складе. Задача — если что, давить на кнопку. В сторожке топчан, батарея, телефон. Тепло, сухо. Ночь через две. Пять в месяц. Идет?

Ванечка все еще не верит. Только моргает часто. Да за что же ему такое? А выбритый словно мысли читает:

— Человека мне нужно, понимаешь, человека. Надежно-го. Я тебя давно заметил. Приглядывался. Глаза у тебя честные.

Да и не алкаш вроде. Короче, вот визитка. Думай. В понедельник жду звонка. Имя как?

— Ванечка, — Тут же спохватился: — Иван я. Анатолич.

— Паспорт?

— Да, да. В порядке.

— Ну тогда, Иван Анатольевич, звони.

Пожав инвалиду руку, директор Малышев Геннадий Петрович, как было написано в визитке, зашагал к машине.

— Это он оперу поет, лохов ищет, — отреагировал Матвеев на Ванечкину новость. — Не лезь.

— Да что с меня взять-то, — рассеянно улыбался Ванечка. — Ему, Петя, человек нужен. Понимаешь. Человек!

— Ну ясен перец, что не баран, — Матвеев вышел, криво ухмыльнувшись. А человек еще долго смотрел на звезды в щель между занавесками. И печально смотрел на него Господь с картонной иконки.

Работа была несложная. Сторожка почти не отличалась от его комнатухи. Только вместо печки — батарея. Да еще телефон. Одна дверь — железная, с глазком — на улицу. Другая — во двор со складом, окруженный бетонным забором. Посторонним открывать строго запрещалось.

Вечером он принимал опечатанный склад. Утром приходил сменщик. На ночь брал газеты и недавно купленное евангелие. Прихватывал и то, что нуждалось в ремонте. Бдение на посту за крепким чаем давалось легко.

Весть о новом повороте в жизни инвалида быстро разошлась по околотку. Когда Ванечка рассказывал о «должности сторожа», лицо его сияло.

Как-то ввалился Матвеев — подшофе.

— Ну как оно — на дядю пахать?

— Мне нравится.

— Нравится ему, — Матвеев фыркнул. — Бухнешь? Нет?

А у меня трубы горят.

Он приложился к бутылке. Громко отрыгнул. Закурил:

— Я вообще-то долг отдать. Бабки ляжку жгут.

На стол упали мятые купюры.

Ванечка смотрел на деньги. На скатерти они казались грязным пятном.

— Петро, не надо. Возьми обратно, — сказал он тихо, не поднимая головы. — У меня получка скоро.

— Тебе че, запаadlo? — Матвеев навис над Ванечкой. — Ты типа честный?

— Да нет. Ты не понял, — лепетал инвалид. — Я читал... мол, прощайте долги...

— А, ты же теперь грамотный. Я и забыл.

Он опустил руку. Пробасил весело:

— Не будь долдоном, упри чего-нибудь и попам на свечку.

Снова отпил. Вытер рукавом губы. У двери обернулся:

— Себя не переделаешь, Ванюха. Запомни.

Деньги соседа Ванечка раздал нищим.

Работал Ванечка исправно. Приходил вовремя. Инструкции выполнял четко. И старался не подводить Петровича. Начальник относился к нему «с пониманием». Брошенное невзначай «человека нужно» упало в душу, как семя в почву. Привилось. Оттого и старался Ванечка. Правил не нарушал.

Но случилось — нарушил — открыл Матвееву. Тот умолял под дверью одолжить «на фуфырик», иначе «бросит кони» прямо здесь.

Ванечка протянул деньги.

— Ты пойми, меня ж уволят, если узнают, — объяснял позже соседу. Тот клялся и божился, наскоро осенял себя крестом. Извини, мол, подыхал; не знал, куда ломиться.

Прошло несколько месяцев. Петрович не обижал — платил вовремя. Были теперь белый хлеб, чай и сахар. Ванечка ощущал себя листом, плывущим по Енисею. Извилистая Кача осталась за спиной.

Ему уже не завидовали, называли за глаза «сдвинутым» и по-прежнему клянчили взаймы. А он глядел на эти опухшие лица, синяки и размазанную тушь — и щемило в сердце, почти до слез.

Хмурые окна провожали ковыляющую фигурку. Ванечка спешил на работу. Там он открыл нечто новое — предрассветные часы. Выходил из сторожки, наблюдал, как рождается солнце.

Как-то под утро в дверь постучали. Раздался знакомый бас: — Ванюха, выручай. Ленке хреново. Лекарство нужно позарез.

Ванечка глянул на тревожную кнопку. На душе стало мутно. — Да где ты сейчас таблетки-то купишь? — он выкручивался, словно школьник. — Давай я «скорую» вызову.

— Ты с дуба рухнул? Какая «скорая»? Там же полюс надо. Аптека за углом. Не тяни. Сдохнет баба, ты же себя живьем сожрешь.

— Ты один? — все еще тянул сторож.

— Да чтоб я сдох! Один, конечно. Я бабки возьму, и меня уже нет. Никто не узнает. Не томи!

— Сколько?

— Сотку.

Ванечка вынул деньги, отодвинул засов. Дверь резко распахнулась. Матвеев отшвырнул Ванечку. Прижал к стене. Две тени метнулись и тут же исчезли в дверном проеме.

— Не надо, Петя! — пытался вырваться инвалид. Но куда ему? Матвеев держал цепко, как паук муху. Хрипел в ухо:

— Слушай сюда, дура. Я тебя свяжу, кляп засуну, в репу дам разок. Ты ниче не понял. Никого не знаешь. С тебя спросу никакого. На тырбанке у тебя доля.

Он сжимал горло, смотрел в глаза. А Ванечка еще пытался спасти. То самое дорогое — «человек нужен».

— Не надо, — задыхался он. — Плохо это... Грех...

Во дворе слышался лязг железа. Хватка усилилась.

— Мусорам сдашь? Или в доле будешь?

— Не буду.

Только и успел выдохнуть. В глазах засверкали синие точки. Ванечка согнулся, по-детски закрывая руками лицо. В ладони текло теплое. На губах чувствовался соленый привкус. Он услышал щелчок выскочившего лезвия.

Удар под ребра... Еще раз... Еще...

Ванечка охнул и рухнул на пол.



Матвеев вытер нож о кофту на гвозде. Переступил через мертвого человека и закрыл дверь. Он не видел, как бесшумно поднялся Ванечка — легкий-легкий.

Ванечка посмотрел на себя — скрюченного в луже крови. Плавно двинулся вперед. Заметил в сторонке какого-то паренька — красивого, с длинными до плеч, волосами. В светлой одежде необычного покроя. Лицо ясное, тихое. Юноша молча взял его за руку и повел за собой. Они прошли сторожку. И Ванечке открылось небо — не то дымное, в тучах, а необыкновенно чистое. Голубое-голубое...